

НАТАЛИЯ КУЗНЕЦОВА*

ДИСКУРС ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ: ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Получено: 02.09.2021. Рецензировано: 20.10.2021. Принято: 01.11.2021.

Аннотация: Задачей настоящей статьи является рассмотрение дискурса исследователей, активно работающих в сфере исторического познания. Иначе говоря, изучаются особенности вербализации основных понятий, концептов, методологических установок современного исторического познания. Анализ дискурса, в отличие от традиционного философско-методологического, позволяет проникать в микромир исторической работы, наблюдать «историка за верстаком» вне «софитов» и прочих атрибутов публичной демонстрации. Дискурсный анализ есть специфический раздел исторической эпистемологии. С точки зрения автора, эпистемология придерживается дескриптивной установки: она предназначена для того, чтобы описывать, а не предписывать, как это свойственно методологии науки. Задача статьи состоит в том, чтобы проследить и показать динамику исторического словаря в надежде увидеть обозначившиеся тренды в переосмыслении моделей исторического процесса как целого. Дискурсный анализ позволяет провести детализацию интеллектуальных изменений и увидеть «точечные сдвиги» в паттернах мышления, которые в конечном счете приводят к «тектоническим преобразованиям» всей области исторических исследований. Наука, согласно теории П. Бурдьё, есть специфическая социальная игра: она содержит внутри себя конкурентную борьбу, в которой победитель обретает право на общее признание и авторитет, закрепляющие изобретенные им концепты в качестве легитимных. История здесь не исключение. В фокусе внимания статьи такие обретшие легитимность концепты, как «историческая реконструкция», «темпоральность», «прошлое», «презентизм», «антикваризм», «нарратив», «контингентность». Показано, что именно слова являются триггерами поискового мышления.

Ключевые слова: историческая эпистемология, дискурсный анализ, историческая реконструкция, темпоральность, презентизм, антикваризм, нарратив, контингентность.

DOI: 10.17323/2587-8719-2021-4-85-115.

Задачей настоящей работы является рассмотрение дискурса активно работающих историков. Иными словами, рассмотрение особенностей вербализации основных понятий, концептов, методологических установок современного исторического познания. Подчеркнем, что наша цель состоит в данном случае не в масштабном осмыслении философских оснований и новейших методологических программ исторической

*Кузнецова Наталия Ивановна, д. филос. н., главный научный сотрудник Института естествознания и техники РАН (Москва), cap-cap@inbox.ru, ORCID: 0000-0002-3310-5285.

**© Кузнецова, Н. И. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

работы (как это сделано, скажем, в монографии Л. А. Микешиной (Микешина, 2016), а именно описание действующего словаря историков и наблюдение за его динамикой. Иначе говоря, я хочу зафиксировать не то, как практикующие историки должны думать, а то, как они говорят. Такая цель только на первый взгляд покажется скромной. Почему же это представляется важным? Если говорить кратко, то суть в том, что такой анализ обладает возможностями провести детализацию интеллектуальных изменений, увидеть точечные сдвиги в самих шаблонах (паттернах) мышления. Если уж принято говорить, что «способы говорения — это способы мысли», то анализ дискурса, в отличие от традиционного философско-методологического, позволяет проникать в микромир исторической работы, наблюдать «историка за верстаком» вне «софитов» и прочих атрибутов публичной демонстрации.

Поясняя задачу данной статьи, прибавлю еще два слова о специфике эпистемологического анализа того или иного дискурса. Эпистемология, с моей точки зрения, сильна дескриптивной установкой. Иными словами, она предназначена для того, чтобы *описывать*, а не *предписывать*, как это свойственно методологии науки. Задача моя в том и состоит: проследить и показать динамику исторического словаря в надежде увидеть обозначившиеся тренды в переосмыслении моделей исторического процесса как целого.

ПАРАМЕТРЫ ДИСКУРСНОГО АНАЛИЗА

Наиболее четкий и емкий ответ на вопрос, что такое дискурсный анализ, дали социологи науки, задачей которых был анализ «суждений», «высказываний» ученых конкретной области (в том случае, который ими анализировался, — биохимиков). Определение звучит так (Гилберт и Малкей, Бланко, 1987: 27):

Главная черта дискурсного анализа, отличающая его от всех предшествующих подходов в социологии науки, заключается в том, что он [...] рассматривает суждения участников событий как объект исследования, а не как его источник.

Подчеркивая специфику своей задачи, авторы заявляют (там же):

Дискурсный анализ [...] не стремится подняться над мнениями ученых, с тем чтобы описать и объяснить их действия и взгляды как таковые. Скорее в фокусе оказывается описание того, как организуются суждения ученых с той целью, чтобы обрисовать их действия и взгляды в соответствии с контекстом.

По нашему мнению, удачный способ удержания многофакторного социального контекста с тем, чтобы проследить вариабельность тех ситуаций, в ходе которых историки думают и говорят тем или иным образом, — применение релятивистской теории социального П. Бурдьё, использующего концепт «поле», рисуя практики научной работы. Наука, с его точки зрения, есть специфическая социальная игра, в которой главные ставки связаны с тем, что «игрок» добывает «научную истину», а не приобретает какой-то лично выгодный ему «выигрыш». Это особый случай в сфере социального, однако он не отменяет того простого факта, что наука, по сути, такой же социальный феномен, как религия, искусство, мода и т. п. Бурдьё писал (Бурдьё, Вознесенский, 2014: 473–474):

«Чистый» универсум самой «чистой» науки является таким же социальным полем, как и любое другое, со свойственным ему соотношением сил и монополиями, борьбой и стратегиями, интересами и прибылями, однако в этом поле все эти *инварианты* облекаются в специфическую форму.

Не будем забывать об указанной специфике не только тогда, когда речь идет о естествознании, но и при анализе такой гуманитарной научной практики, как историческое познание. Никто не сомневается в том, что историки не являются просто исполнителями чьих-то социальных заказов, но также страстно стремятся к установлению «объективной истины», как и их коллеги из сферы естественных наук или математики.

Бурдьё резонно отмечает (там же: 474):

Научное поле как система объективных отношений между достигнутыми (в предшествующей борьбе) позициями является местом (т. е. игровым пространством) конкурентной борьбы, специфической ставкой в которой является монополия на *научный авторитет*, определяемый как техническая способность и — одновременно — как социальная власть, или, если угодно, монополия на научную компетенцию, понимаемую как социально закрепленная за определенным индивидом способность легитимно (т. е. полномочно и авторитетно) говорить и действовать от имени науки.

Поэтому легитимность традиционного для той или иной научной практики дискурса является исходной ситуацией; когда же речь идет о новых дискурсах (или по крайней мере об инновациях в устоявшемся дискурсе), перед исследователем стоит еще и дополнительная задача — обрести (завоевать!) эту легитимность. Сплошь и рядом это дается нелегко — историческое познание здесь не исключение.

Каждый исследователь знает, как важно найти удачный термин, слово, устойчивое словосочетание для того, чтобы зафиксировать обнаруженное новое явление, новый поворот в методологии, новый взгляд на привычное и освоенное. Дискурсный анализ старается быть чувствительным к вербальным находкам ученых, не требуя от них фундаментальной обоснованности, «железной» аргументации и суровой логической непротиворечивости. Концепт «парадигмы» Т. Куна при всей его полезности явно недостаточен для микроанализа. Парадигмальные сдвиги в науке — слишком громкое событие, связанное со сменой масштабных теорий, исследовательских методов или открытием принципиально новых объектов изучения. Дискурсный анализ, на наш взгляд, не отрицает «парадигмальность» ученого, но позволяет пойти глубже, усмотреть в профессиональной работе точки роста и толчки к трансформации легитимных (авторитетных) научных представлений. Как нам кажется, без такого подхода невозможно наблюдать исследователя «за верстаком», чтобы выявить динамику процесса, лежащую в основе тектонических сдвигов научного познания. Только в макро- и мегамире социальности можно фиксировать «гештальт-переключение», связанное с принятием новой парадигмы. Концепция научных революций Куна почти ничего не сумела объяснить в трансформациях исторической работы, хотя для вовлеченных в эту область совершенно очевидно, что изменения «на верстаках» идут непрерывно, ежедневно и ежечасно.

Дискурсный анализ, конечно, не является какой-то сногшибательной новостью для философии XX века. Напротив, прошлое столетие характеризовалось взлетом замечательных исследований в области лингвистики, семиотики, паремиологии, социологии, культурологии и философии в целом. Провозвестником «лингвистического поворота» в философии считают Л. Витгенштейна, что произошло еще после Первой мировой войны. Однако этот поворот был связан с желанием избавить людские высказывания (суждения) от «темности», путаницы, одним словом — с желанием «прояснить» речь, приблизить ее к реальности, указать такие логические средства, которые могли бы сделать язык максимально ясно *представляющим* действительность. Однако это было только началом процесса, в котором философия обретала себя «в новом ключе». Так изображает эту трансформацию XX столетия Сьюзен Лангер, работа которой выдержала несколько изданий в США (1941, 1951, 1956) и была переведена на русский язык (2000 г.). Тематика ее книги, конечно, гораздо шире, чем логическое исследование языковой реальности, характерное для неопозитивизма. С. Лангер

указывает на целое интеллектуальное поколение (Кассирера, Уайтхеда, Фрейда, Рассела, Витгенштейна), которое «предприняло атаку на очень трудную проблему символа и значения, задав лейтмотив философской мысли нашего поколения» (Лангер, Евтушенко, 2000: 8). Понятно, что символы и символизация — феномены, которые вовсе не предназначены представлять действительность; их цель скорее закрепить обретенные в опыте *смыслы*. Тем не менее Лангер считает, что, несмотря на очевидно изменившуюся тематику, философия XX века в целом работала в одном ключе.

Обратим внимание на то, как Лангер представляет формирование философского (или научного) «нового ключа». В основе всех интеллектуальных трансформаций, по ее мнению, лежат формулировки *вопросов*, но отнюдь не получаемые ответы. Она писала (там же: 9–10):

Каждая эпоха в истории философии поглощена своими собственными идеями. Проблемы данной эпохи присущи ей не в силу очевидных практических причин — политических или социальных, — здесь действуют более глубокие причины интеллектуального роста. Если мы обратим внимание на медленное формирование и накопление доктрин, отмечающих эту историю, то в ее пределах сможем увидеть определенные *группировки идей*, которые выделяются не по содержанию, а под воздействием более тонкого общего фактора, который может быть назван «техникой» («*technique*») обращения с ними. Именно способ решения проблем, а не то, в чем конкретно они заключаются, закрепляет их за данной эпохой. Содержание проблем может быть случайным и зависит от завоеваний, открытий, поветрий или форм правления в государстве. Но их трактовка основана на более прочном фундаменте.

«Методика» решения (или трактовка) проблемы начинается с ее первоначального выражения в виде вопроса. То, каким образом задается вопрос, определяет направления, по которым могут быть даны правильные или ошибочные ответы. ...Вопросы создают больше, чем структуру, они задают точку зрения, дают палитру, стиль, в котором рисуется картина, — все, кроме объекта. В основе наших вопросов лежат наши *принципы анализа*, и наши ответы могут выражать все, что эти принципы способны дать.

Соглашаясь в целом с тезисом Лангер о том, что вопросы имеют решающее значение для мощных интеллектуальных трансформаций, рискнем добавить, что анализ задаваемых вопросов возможен исключительно в рамках дискурсного анализа. И связано это с тем, что он не требует ни систематизации «говорения», ни построения «единой версии» возникающих вопросов. Кроме того, важно отметить, что Лангер,

по сути, касается проблемы легитимации новых философских дискурсов (вопросов, проблем), когда демонстрирует, что как-то спонтанно происходит некая *группировка идей*, а также *переписывается* история интеллектуальных достижений с целью усмотрения в ней «зародышей» осмысления происходящего на глазах интеллектуального *поворота* к новым принципам мировоззренческого и методологического характера.

При этом не всегда, заметим попутно, такой переход осознается как «научная революция», подобно напумевшему *коперниканскому повороту*. Чаще всего научное и философское сообщество предпочитает осознавать такие повороты как шаг развития, кумулятивно, как приращение знаний. И мы не будем спорить с такой оценкой, наше дело — зафиксировать ее. В конце концов, такие оценки в сообществе всегонавсего играют роль способа легитимации новых дискурсов. Слово «революция» как «похвальное» относительно оценки значения радикальной новизны в науке было порождено определенными социополитическими настроениями, эпохой Французской революции. Это было ярко показано в работе Б. Козна, который анализировал *ньютоновскую революцию*. Он писал:

употребление слова «революция» в контексте науки всегда отражало существующие в данную эпоху теории политической и социальной революции, при этом принимается во внимание также и опыт реальных революций (Cohen, 1985: 10).

Однако сегодня научное сообщество, как правило, не любит такого осознания, сторонится его, предпочитая подчеркивать, что новации в науке — это шаг вверх по лестнице познания, а не разрушение всего, что ранее было достигнуто. Другой вопрос, что зачастую легитимация научных инноваций достигается именно благодаря активной поддержке социальных институтов и политических элит и со стороны научного сообщества не учитывать общественную моду, обосновывая свои взгляды на необходимость трансформации дискурса, было бы попросту легкомысленно.

О легитимации различных направлений исторической работы в различные эпохи упоминают не только философы, но и практикующие историки. В замечательно остроумной книге П. Ю. Уварова (Уваров, 2015) проведено различие историков по типу их работы. Автор пользовался собственными наблюдениями «внутри профессии», и его разрозненные и несистематизированные заметки, казалось бы, не предполагали каких-то обобщений, кроме одного — выделение характерных типажей

профессионалов исторической работы. «Лис знает много, еж — одно, но важное», — это высказывание древнегреческого сатирика Архилоха Исайя Берлин успешно применил для классификации писателей и философов, а П. Ю. Уваров — для классификации практикующих историков. Одни профессионалы неустанно добывают знания о прошлом, другие — высказывают общетеоретические и методологические идеи. Бесмысленно спрашивать, кто важнее и нужнее. В исторической науке меняется все: тематика, методология, осмысление особенностей исторического познания и истории как объективного процесса, организационные структуры и идеологические ориентиры, но кое-что остается удивительно инвариантным (Уваров, 2015: 271):

...Сообщество историков вступило в иной период, где правила игры — другие. Но историки по-прежнему делятся на «лис» и «ежей».

Когда-то П. Ю. Уваров сетовал: в сфере исторического познания, на его взгляд, «ежей» становилось все больше, а число «лис» неуклонно падало. Как представлялось автору, «ежи» занимаются, по сути, эпистемологическими проблемами (включая пути идеологической легитимации новых направлений). Он подчеркивал, что рассуждения, которые производятся «ежами», обладают тем недостатком, что

слишком быстро и слишком далеко отрываются от серых будней работы с конкретным эмпирическим материалом. Конечно, рефлексия по поводу особенностей работы историка вполне естественна и закономерна [...]. Но [...] раз задумавшись над механизмами и правилами чужого, а тем более своего творчества, историк перестает работать с источником — подобно сороконожке, парализованной вопросом о том, что делает ее тридцать восьмая нога, в тот момент, когда она шагает своей двенадцатой парой лап (там же: 7).

Для нас, занятых дискурсным анализом, важно зафиксировать само «говoreние» автора этой книги, а не поправлять его в тех или иных точках его рассуждения. Именно так, как он зафиксировал, думают и говорят историки. И в этом ценность таких живых заметок. П. Ю. Уваров представил научную рефлексию сообщества историков на данный момент, хотя, заметим, что то, чем сегодня занимается «историческая эпистемология», весьма отличается от нарисованного им образа сороконожки. Это не снижает значения проделанной им работы, где яркими штрихами набросана картинка того, как историки рассказывают (в собственном сообществе или адресуясь более широкой публике) о том, как они думают, пишут и говорят на профессиональные темы.

Вопрос о предмете и задачах «исторической эпистемологии» продолжает сегодня оставаться дискуссионным (Шиповалова, 2018: 153–167). Сам термин амбивалентен, у этого направления есть два «крыла»: одно связано с задачами анализа специфики исторического познания; другое — стремится ответить на вопрос, как возможна история знания (иными словами, как объяснить тот факт, что знание, признанное «ошибочным», может быть отчасти «истинным»?). Второе крыло тесно связано с философской гносеологией и развивается как современная теория познания (эпистемология), которая на текущий момент рассматривает большинство из традиционных проблем теории познания.

Однако образ сороконожки не подходит ни для одной дефиниции из разнообразных направлений этой области. Напротив, «историческая эпистемология», как бы она себя ни позиционировала, призвана не мешать сороконожке ловко перебирать лапками, но надеяться, что благодаря ее анализу историки будут смелее осваивать пути, ведущие к преодолению незнания, а главное — намечать когнитивные «шаверы», которые практикующим историкам придется еще смело пройти, пусть и каким-то непредсказуемым образом. Такова же цель (скорее надежда) и настоящей статьи, хотя, конечно, в целом эпистемологи решают собственные вопросы.

Задача «исторической эпистемологии», по мнению авторитетного американского историка Аллана Мегилла, состоит в следующем (Мегилл, Кукарцева и др., 2007: 11):

Мой главный интерес в этой книге заключается в рассмотрении аргументов и обоснований, которые позволяют ответить на вопрос: на каких основаниях мы принимаем оценки прошлого, которые предлагают нам историки или другие люди? Или, говоря немного другими словами: как лучше всего мы можем избежать историографической ошибки? «Историческая эпистемология», к которой я обращаюсь, занимается исследованием правил, предназначенных для обнаружения и предотвращения такой ошибки.

Конечно, указание на такую «полезность», сразу обеспечивает легитимность поставленной задачи. Наша «полезность», предупредим сразу, весьма условна. Главное в дискурсном анализе, особенно в контексте эпистемологических проблем, — сохранить *дескриптивную* установку, которая не предназначена для того, чтобы немедленно переходить к фор-

мулировке правил и норм. Дискурсный анализ хочет закончить свою работу словами *так есть*, а не словами *так должно быть*.

«НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС» СЛОВАРЯ ИСТОРИКА

Начнем, как говорится, *ab ovo*, то есть с вопроса: существует ли какой-то набор слов / понятий / концептов, которым вольно или невольно, сознательно или нет, пользуются все без исключения историки? К счастью, необходимую работу по выявлению «неприкосновенного запаса» минимально необходимой лексической гаммы этой профессии провел Р. Дж. Коллингвуд (Коллингвуд, 1980), всемирно признанный философ и историк философии. Сошлемся на его авторитетное мнение и составим искомый нами рабочий словарь историка, который сложился как результат огромного когнитивного опыта.

Каждая научная дисциплина имеет собственный, своеобразный путь генезиса и развития. При этом, заметим, сплошь и рядом некоторые методологические и мировоззренческие проблемы коренятся в том, что сегодня называют «эффектом колеи» (*path-dependence problem*), т. е. с тем, что нечто сложилось в первоначальную эпоху и далее транслируется на огромной временной дистанции, несмотря на все усилия рефлексирющей «сороконожки». Не является здесь исключением и историческое познание, поэтому так важен анализ Коллингвуда. Он напомнил:

...Само слово «история» свидетельствует вплоть до наших дней о том, что история как наука была открыта греками. «История» [ἱστορία] — греческое слово, и означает оно просто исследование или изучение (там же).

Но оно отличает работу Геродота, использовавшего его в названии своей книги, от работы «логографов», которые были регистраторами, описывающими современные им сказания.

Коллингвуд выделяет четыре особенности истории, которые осознаются уже античными мыслителями и составляют основание всей европейской традиции историографии (ее «колею»):

- (1) она научна, т. е. начинается с постановки вопросов, в то время как создатель легенд начинает со знания чего-то и рассказывает о том, что он знает;
- (2) она гуманистична, т. е. задает вопросы о сделанном людьми в определенные моменты прошлого;
- (3) она рациональна, т. е. обосновывает ответы, даваемые ею на поставленные вопросы, а именно — она обращается к источнику;
- (4) она служит самопознанию человека, т. е. существует для того, чтобы говоря человеку о его прошлых деяниях, рассказать ему, что он такое (там же: 20).

Коллингвуд превосходно показал тот метафизический контекст, который сделал историографию важнейшим компонентом греческой жизни античной эпохи и укоренил ее в европейской культурной традиции, как говорится, навсегда. Он показал при этом, что, согласно греческой философии, познание постоянно меняющегося невозможно, он назвал это «антиисторической тенденцией греческой мысли». То, что меняется, подлежит не знанию, а только мнению ($\delta\delta\zeta\alpha$).

Мнение — это эмпирическое полужнание, которым мы обладаем о реальных, всегда изменяющихся фактах. Это — наше мимолетное знакомство с мимолетными реальностями мира. Поэтому оно имеет силу только в пределах собственной длительности, для данного места и данного мгновения; оно непосредственно, не имеет разумных оснований, не может быть доказано (Коллингвуд, 1980: 22).

По сути, речь идет о восприятии,

с помощью которого чувства человека улавливают исчезающее мгновение в его мимолетности. И сущность греческой точки зрения состояла именно в том, что это мгновенное чувственное восприятие мгновенно изменяющихся вещей не может быть наукой или основой науки (там же).

Каким же парадоксом выглядит тогда их глубокий и непреходящий интерес к истории, миру постоянных изменений! В чем был для них смысл исторического изучения? Коллингвуд подчеркнул (там же: 23):

Греческая погоня за вечным была такой напряженной именно потому, что сами греки обладали необычно острым чувством времени. Они жили в эпоху, когда история двигалась с чрезвычайной скоростью, и в стране, где землетрясения и эрозия почвы меняли ее лицо с силой, с которой вряд ли еще где-нибудь можно столкнуться. Вся природа была для них зрелищем непрерывных изменений, а человеческая жизнь менялась быстрее всего.

Но все же история имела для греков определенную ценность. Сам Платон указывал, что правильное мнение (являющееся разновидностью псевдознания, которое мы получаем от восприятия того, что изменяется) не менее полезно для практической жизни, чем научное знание. [...] История достопримечательных событий заслуживала того, чтобы ее помнили, ибо она могла служить основой прогностических суждений, если и не полностью надежных, то вероятных, устанавливающих не то, что произойдет, а то, что может произойти, указывающих на опасные точки в ритмах жизни, протекающей в данный момент. [...] Судьба, как темное облако, нависшее над человеческой жизнью, разрушительная сила, с греческой точки зрения, лишь потому, что человек слеп и не знает механизмов ее действия. Но [...] он все же может

составить правильное мнение о них, и тогда он сумеет так себя повести, что удары судьбы его минуют (Коллингвуд, 1980: 25).

Так вошли в европейскую культуру важнейшие представления о назначении истории, своеобразии ее предмета и способов работы. Обозначены даже ключевые ее методологические и мировоззренческие проблемы: сможет ли история построить знания, если она базируется на памяти, которая фиксирует «моментальное»? В каком смысле можно извлекать уроки из прошлых деяний, если ничто в человеческом мире не повторяется? Насколько можно доверять рассказам очевидцев и как правильно их собирать и критически оценивать? Коллингвуд выразительно говорит о греческих историках (там же: 27):

Их метод держал их на привязи, длина которой определялась непосредственной живой памятью: единственным источником для критики был очевидец события, человек, с которым они могли беседовать с глазу на глаз.

Всякий выход за пределы того прошлого, которое мелькнуло перед их глазами, уводил и Геродота, и Фукидида в сферу преданий, которую невозможно поднять до уровня исторического изучения. И оба великих историка такую свою ограниченность вполне осознавали.

Европейское Новое время, как показал Коллингвуд, принесло не только новые предметы описания, но и новые темы и стилистику в исторические работы. Историки начали писать в «новом ключе». Прежде всего, у европейцев изменилось чувство времени, его образ. Как показал М. Элиаде, время перестало восприниматься как циклический процесс, подобный круговороту колеса, сформировался образ «стрелы времени», прошлое для человека стало трагически безвозвратным (Элиаде, Григулевич и Гаспаров, 1987). «Учительская» роль историографии переосмыслена: теперь история воспринимается как «путь». Но откуда и куда?.. Стоит ли искать причины движения истории, как это успешно делают физики в разделе «динамика и кинематика»? Исторический процесс безличен, но все же рукотворен. Поэтому память, которую хранит история, никогда не потеряет своего значения. Более того, человек начинает жить в истории, становится *историческим человеком*, сознавая ответственность за свои деяния. Весь комплекс методологических проблем исторического изучения постоянно обсуждается, часто в формате ожесточенной полемики, а историографические труды множатся.

Масштабное исследование Коллингвуда «Идея истории» писалось в 1935 г., увидело свет после кончины автора в 1946. В нем еще нет

следов анализа той мировоззренческо-методологической революции, которую связывают сегодня с энергией французской школы «Анналов». В фокусе его внимания — мыслители такого ранга, как Декарт, Вико, Гердер, Юм, Кант, Гегель, Шеллинг и многие другие. Заканчивается его работа критическим уточнением понятия «прогресс», которое стало столь модным уже в XIX столетии и существенно повлияло на проводимые исторические исследования. Он тщательно проследил размышления тех историков, которых по принятой классификации необходимо отнести к «ежам». «Еж», как говорилось выше, знает одно, но важное. Коллингвуд, к примеру, посвящает несколько страниц анализу соображений английского политолога Майкла Оукшотта, который написал одну-единственную работу методологического характера «Опыт и его формы» (Кембридж, 1933).

Сегодня деловой словарь историка содержит четыре главных рабочих концепта: объект изучения истории — *прошлое* («как оно было», по Ранке); непосредственный эмпирический материал — *исторические источники*; искомый результат — *реконструкция* события или процесса. Именно реконструкция становится содержанием *исторического описания (нарратива)*. Каждый из концептов может быть подвергнут переосмыслению, что и происходит постоянно. Тем не менее именно этот понятийный набор является инвариантом для тех практикующих историков, которых относят ко многознающим «лисам».

Обратим внимание на такую деталь: в XX веке вновь проблематизируется понятие «прошлое» как объект изучения, как та онтология, к которой относят все знания, добытые «лисами». Марк Блок в своей уже хрестоматийной книге о «ремесле историка» страстно подчеркнул: «Наш тиран — прошлое!» — и назвал историю «наукой о прошлом». Он ярко и ясно обозначил роковой рубеж исторического познания, который отличает его от познания естественнонаучного:

Историк как таковой, говорят нам, начисто лишен возможности лично установить факты, которые он изучает. Ни один египтолог не видел Рамсеса. Ни один специалист по наполеоновским войнам не слышал пушек Аустерлица. Итак, о предшествовавших эпохах мы можем говорить лишь на основе показаний свидетелей. Мы играем роль следователя, пытающегося восстановить картину преступления, при котором сам он не присутствовал, или физика, вынужденного из-за гриппа сидеть дома и узнающего о результатах своего опыта по сообщениям лабораторного служителя. Одним словом, в отличие от познания настоящего, познание прошлого всегда будет «непрямым» (Блок, Лысенко, 1973: 30).

Подчеркнем мысль М. Блока: никакие достижения технологии никогда не позволят нам увидеть воочию исторические события и вынести о них свои суждения по той простой причине, что главные акторы событий — люди — давно ушли в мир иной. Так называемые исторические эксперименты (будь то путешествие на «Кон-Тики» Хейердала или попытки показать, что зеркала, которыми пользовался Архимед при осаде Сиракуз, способны сжигать деревянные корабли римлян) могут только убедительно продемонстрировать возможность, но не действительность прошлого события. И если бы даже исполнилась мечта Н. Ф. Федорова о реальном «воскрешении мертвых», отозванный нами с того света Наполеон появился бы в совершенно непонятном ему контексте экономических, политических и социокультурных обстоятельств. Знаменитое сражение «трех императоров» при Аустерлице 1805 г. не повторилось бы, ни при каком физическом воскрешении участников событий.

Необратимость человеческих деяний делает невозможными попытки реально отправиться за «поворот» реки исторического Времени. Прошлое предстает перед нашим взором только мысленно, путем интеллектуальной реконструкции. А это всегда хрупко и ненадежно, поскольку находится во власти воображения, определяемого самыми разными внешними (идеологическими или коммуникативными) и внутренними, личностными контекстами¹.

Как, спрашивается, получается рационально правильная историческая реконструкция? Если М. Блок несколько шутливо говорит о необходимости бороться с «вирусом современности», то дальнейшие дискуссии предельно обостряют этот вопрос. Следует решительно предупредить практикующих историков (сказать *одно, но важное!*), что и сделал А. Я. Гуревич в одной из своих статей уже в 1997 г. (а устно повторял, вероятно, гораздо раньше) (Гуревич, 2005: 610):

Наиболее тяжкий грех, в который способен впасть историк — и в который, к сожалению, очень часто впадают, — состоит в том, что он изображает человека иной эпохи подобным себе и своим современникам. «Другой» не означает «чужой». Во многом он схож с нами, но прежде всего необходимо выявить различия. Презумпция «инаковости» — постулат исторического познания.

¹ Озабоченность неясностью понятия «прошлого» демонстрируют такие сравнительно недавние работы, как, например: Феномен прошлого, 2005; Герасимов, 2017: 1–19.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

«Где?» и «когда?» — два ключевых вопроса, необходимых для ориентировки человека в мире. И «когда» влияет даже на «где», поскольку все мы понимаем, что со временем меняется не только облик человеческих поселений, социокультурные обстоятельства, но и природный ландшафт. История показала это столь наглядно, что такое «историческое сознание» стало достоянием даже массовой культуры. В историческом изучении время первично и определяет пространство.

Темпоральность в истории, т. е. вопросы о том, что и как мы, живущие в определенном мире, который называем *современным*, можем реконструировать в качестве *прошлых* событий, — основная задача и наибольшая проблема историков. Здесь идет, как выразился Гуревич, «нескончаемый спор». Соблюсти презумпцию «инаковости» (что означает дистанцированность и сдержанность исследовательской позиции) для воспроизведения феноменов прошлого порой просто невозможно, поскольку воспроизведение событий сопровождается оценкой, а она уже не имеет четких и доказательных оснований. Точнее, основания всегда есть, но они слишком разнообразны. Не случайно родился и широко бытует горький сарказм: «ничто не является столь непредсказуемым, как наше прошлое». Релятивизм исторических выводов кажется неизбежным следствием человеческого сущностного пребывания во времени.

Прежде всего, следует отдать должное тем грандиозным усилиям, которые были предприняты для того, чтобы время, если не укротить, то упорядочить. Речь идет о формировании такой вспомогательной исторической дисциплины, как хронология. Мы настолько сжились с изображением хронологической шкалы в виде стрелы, что не отдаем себе отчета, сколь поздно появилось такое удобство, позволяющее синхронизировать и тем самым сравнивать разнообразные события, а также определять периоды исторического «развития». Следует хотя бы изредка осознавать, что это не естественный, а изобретенный, точнее — инженерно-конструктивный порядок.

Труды астрономов и историков дали искомый результат. Но если астрономическое время безразлично к человеческим деяниям, то историческая шкала возникала под влиянием идеологических и коммуникативных соображений. Конечно, разнообразие календарей, характерных для разных регионов Земли, не было какой-то новостью. Когда 24 января 1918 г. Советское правительство ввело в действие Григорианский календарь, для россиян после 31 января наступило сразу 14 февраля,

но никто не считал это «концом света». Это было просто астрономической поправкой, основанной на рациональных, безличных соображениях. Формирование представлений об «эрах», фиксирующих события в «человеческом измерении», было долгим и трудным. Выбор точки отсчета, естественно, определялся «человеческой линейкой»: от основания Рима, от рождения Христа, от дня бегства Мохаммеда из Мекки в Медину, от дня смерти Будды и т. п. В 525 г. римский монах Дионисий Малый предложил известную нам шкалу «от рождения Христова», и с VI в. эта шкала постепенно принимается в Западной Европе (в России — декретом Петра, с начала XVIII в.), с XIX в. становится обязательной во всех христианских странах. Сегодня именно такая шкала для фиксации исторических событий во времени принята международным сообществом как абсолютная.

Конечно, все измерительные приборы (шкалы) человекоразмерны и несут на себе отпечаток «изобретательства». Просто обратим внимание на то, насколько рабочий словарь историков отражает это обстоятельство, каким образом это сказывается на производстве исторического знания. Все ли термины, маркирующие периоды человеческой истории, являются изобретением историков, живущих в более поздние времена? Несомненно, это так. Просто удивительно, насколько недавними и авторскими являются эти термины! Прежде всего, была осознана «древность». Но «Античность» — от фр. *antiquité* — распространяется только с XVIII в. Термин «Средние века» (*ævum medium*) появляется у Флавио Бьондо в 1453 году и далеко не сразу принимается всеми. Его узаконил в конце XVIII в. немецкий историк Х. Келлер (Целлариус). «Ренессанс» (лат. «renasci», рождаться вновь) и «Новое время» — слова-маркеры гуманистов, во многом поначалу совпадающие. Однако *Возрождение* Джорджо Вазари и других гуманистов выражало, скорее, переживаемое ими чувство времени, его ключевой смысл, а в рабочем значении термин вводит в обиход историков Жюль Мишле (1840) и окончательно закрепляет работа Якоба Буркхардта «Культура Италии в эпоху Возрождения» (1860). По теперешним меркам Ренессанс становится периодом позднего Средневековья, который непосредственно предшествует Новому времени европейской истории.

Крайне эмоционально описывает изобретение темпоральных терминов как обладающих для историков колоссальной «тиранической силой» Люсьен Февр в статье «Как Жюль Мишле открыл Возрождение». Уважаемый маэстро по каким-то причинам не жалуется Целлариуса и награждает

дает его уничижительными эпитетами, а гением Мишле восхищается (Февр, Бобович и др., 1991: 387):

Глупец, убожество, невежественный магистр обнаруживает между «древним веком» (*aetas antiqua*) и «веком современным» (*aetas moderna*), которые уже были выделены его современниками, — он обнаруживает обширную страну фактов и деяний, не имеющих своего прозвания. Он окрестил их «промежуточным» или «средним веком» (*aetas intermedia*). И «созданное» таким образом средневековье обретает плоть и обретает жизнь. Мало-помалу становится реальностью. Чем-то живым. Существом, которое рождается, растет, переживает пору расцвета, деградирует и умирает. Личностью, чья психология изучается. Изучают всерьез. Как будто эта личность в самом деле существует. Как будто она когда-то существовала.

Великий историк, гениальный творец Мишле тоже впервые связал воедино факты разнородные, но из одной эпохи. Целое он нарек прекрасным именем «Возрождение», словом, которое он нашел в себе самом, а жило оно в нем благодаря сугубо личным обстоятельствам самого Мишле. Так Возрождение, этот ярлык, в свой черед становится реальностью, которая противопоставляется средневековью. Сталкивается с ним и побеждает. Но, кроме того, в значительной мере определяет наше понимание средних веков.

Безымянный педант. Гениальный Мишле. Результат одинаковый. Это учит нас скромности и тому, что все относительно.

С точки зрения дискурсного анализа, т. е. наблюдения за генезисом темпоральных терминов, прослеживается, что даже установление временных периодов на единой хронологической шкале отражает как попытку историков дистанцироваться от объектов своего изучения, так и их желание приблизиться к самооценкам тех, кто жил в прошлом. Впрочем, сама дистанцированность в свою очередь порождает некоторые серьезные парадоксы исторических умозаключений, на которые прозорливо обратил внимание М. М. Бахтин.

В одной из своих статей (1970) Бахтин отметил (Бахтин, 1986: 352):

В каждой культуре прошлого заложены огромные смысловые возможности, которые остались не раскрытыми, не осознанными и не использованными на протяжении всей исторической жизни данной культуры. Античность сама не знала той античности, которую мы теперь знаем. Существовала школьная шутка: древние греки не знали о себе самого главного, они не знали, что они *древние* греки, и никогда себя так не называли. Но ведь и на самом деле, та дистанция во времени, которая превратила греков в *древних* греков, имела огромное преобразующее значение: она наполнена раскрытиями в античности

все новых и новых *смысловых* ценностей, о которых греки действительно не знали, хотя сами и создали их.

Бахтин несколько раз повторяет и разъясняет эту мысль (Бахтин, 1986: 350):

Мы можем сказать, что ни сам Шекспир, ни его современники не знали того «великого Шекспира», какого мы теперь знаем. Втиснуть в Елизаветинскую эпоху нашего Шекспира никак нельзя. [...] Что же, мы примыслиаем к произведениям Шекспира то, чего в них не было, модернизируем и искажаем его? Модернизации и искажения, конечно, были и будут. Но не за их счет вырос Шекспир. Он вырос за счет того, что действительно было и есть в его произведениях, но что ни сам он, ни его современники не могли осознанно воспринять и оценить в контексте культуры своей эпохи.

Получается так, что смысловое содержание (текста или исторического события) может «наращиваться», развиваться, меняться до неузнаваемости?! Все определяется *контекстом* самой эпохи и сопутствующего эпохе восприятия исследователя (литературоведа, культуролога, историка), т. е. его *рецепцией*. В лексике историков и культурологов все чаще появляется и используется это слово. «Роль читателя», как показали работы У. Эко по семиотике текста, оказывается решающей при выявлении «смысловых ценностей» (Эко, Серебряный, 2005). Можно, конечно, радоваться подлинному бессмертию великой литературы и искусства, но разве следует отказаться от стремления знать прошлое, реконструировать *то, что было? Каким бы оно ни было*. На своих лекциях С. О. Шмидт, предостерегая аудиторию от вскипающих эмоций, твердо и выразительно повторял: «Было так, как было!» Вопрос в том, как этого достичь в проводимой реконструкции.

Модернизация для историка — очевидный грех, но как отказаться от собственной рецепции? Какими средствами ее контролировать? Проблема неожиданно резко обострилась в сфере историко-научных исследований. Когда речь идет об истории знания, то, казалось, здесь неуместно говорить о «рецепции» исследователя. Уравнение есть уравнение, к какому бы веку оно ни относилось. Объекты изучения и законы природы не зависят ни от исторического времени, ни от чьих бы то ни было рецепций. Однако историки науки, как выяснилось, в основном исследовали, какими были в прошлом не сами идеи «древних», а «зародыши» тех замечательных идей, которые составили славу современной им науки.

Приведем короткий, но характерный и показательный пример. Речь идет о важнейшем для теории упругости законе Гука, который лежит в основе всех современных расчетов при строительстве зданий, мостов и других сложнейших инженерных сооружений. «Физический энциклопедический словарь» сообщает (Физический энциклопедический словарь, 2005: 139):

В 1660 г. английский ученый Р. Гук обнаружил, что при растяжении стержня длиной l и площадью поперечного сечения S удлинение стержня Δl пропорционально растягивающей силе F , т. е. $\Delta l = kF$, где $k = \frac{l}{ES}$ (E — модуль Юнга).

Приводится и более современное выражение закона Гука в тензорной форме! Нетрудно догадаться, даже непрофессионалу, что исторически существовавший Роберт Гук не ведал таких формул, такого математического языка. При знакомстве с записями самого Гука выясняется, что он изучал свойства пружины растягиваться под действием различных грузиков, а также подобным образом пытался растянуть металлическую проволоку. Результаты проведенных измерений привели к следующей записи: «*Ut tensio sic vis*» (каково растяжение, такова сила) и «*Ut pondus sic vis*» (каков вес, таково растяжение). В лучшем случае можно говорить об установлении Гуком некоторой эмпирической зависимости, которую он выразил в виде пропорций. Все остальные смыслы обнаружены развитием физической науки. В каком-то плане именно историки науки реализовали в наибольшей мере ту процедуру, которую отметил М. М. Бахтин, когда писал (Бахтин, 1986: 350):

Смысловые явления могут существовать в скрытом виде, потенциально и раскрываться только в благоприятных для этого раскрытия смысловых контекстах последующих эпох.

Тем не менее в какой-то момент историки науки в некоторой своей части «взбунтовались». В 1965 г. Дж. Стокинг-мл. привлек внимание к данной проблеме и внес важное добавление в словарь историков науки. В небольшой «колонке редактора» Журнала по истории наук о поведении (Stoking, 2018: 211–212) он заявил, что возможны два стратегических подхода к изучению науки прошлого: один он обозначил как «презентизм», другой — как «историзм». Последний термин автор сам быстро признал неудачным, слишком широким и расплывчатым. Термин «контекстуализм» также не отражал нужного содержания. Постепенно второй подход стали обозначать как «антикваризм».

Стокинг определил введенные им новые термины кратко, но очень выразительно. Во-первых, он четко различил два подхода, признав, что оба имеют право на существование. Во-вторых, он четко указал на различие целевых установок.

Презентизм — это попытка понять прошлое ради настоящего (for the sake present); историзм — это попытка понять прошлое ради прошлого (for the sake past) (Stoking, 2018).

В-третьих, он достаточно иронично отозвался о стратегии презентизма как о «вигизме» (*Whig Interpretation of History*). Это была отсылка к небольшой, но шумевшей работе Г. Баттерфилда «Вигианская интерпретация истории» (1931), в которой автор скандально заявлял, что большинство тех, кто занимается изучением гражданской истории, рисует, по сути, телеологическую линию, подчеркивая исключительно моменты прогресса и побед, обеспечивая тем самым «ратификацию» настоящего положения дел, то есть историю «победителей» (Butterfield, 1931: 83).

Возникла довольно мощная дискуссия о соотношении «презентизма» и «антикваризма» в историко-научных исследованиях. Прошлое науки, казалось бы, полностью поглощается новыми достижениями, оставляя за бортом чистые «ошибки»; а историк науки — плоть от плоти современной науки, что принципиально определяет его возможности реконструкции. Правомерность «антикваризма» приходилось защищать и отстаивать. М. А. Розов писал (Розов, 1994: 22–23):

Изучая исторические традиции, историк должен понимать, что в его руках как бы два класса приборов. [...] Мы имеем две дополнительные картины исторического процесса. Одна из них может претендовать на подлинность, но, увы, подобна немому кино. Другая озвучена на понятном нам языке, но, как сказал поэт, «мысль изреченная есть ложь». Историк, разумеется, нуждается в обеих картинах, но их нельзя просто объединить друг с другом как описание одной и другой стороны медали. Картина полна и, будучи дорисована до конца, в принципе исключает другую.

У Стокинга были все основания упрекнуть историков науки в доминировании целевых установок «презентизма». Конечно, причиной было то, что успехи науки, кажется, наиболее убедительно свидетельствуют в пользу понятия «прогресс», которое не просто является привнесенным извне, оценочным, но и выражает самую суть истории познания. На это указывал еще Коллингвуд (Коллингвуд, 1980: 318):

Ценность науки в плане концепции прогресса как раз и состоит в том, что она, по-видимому, представляет собой простейший и наиболее очевидный случай существования прогресса, и прогресса однозначно доказуемого. По этой причине люди, сильнее всех верившие в прогресс, обычно ссылались именно на прогресс науки как на ярчайшее доказательство существования прогресса вообще.

Коллингвуд более чем скептически относился к попыткам распространить «прогрессистское видение» историка на восприятие других сфер человеческой деятельности — искусства, философии, религии, политики и экономики.

Отмеченный «прогрессизм» может приводить к очевидной неадекватности. Например, одной из наиболее неудачных попыток построения словаря антропологов и этнографов было первоначальное именование эволюции ранних этапов человеческой истории. Адам Фергюсон (1767) впервые употребил слово «дикость» (*savage nations*), а Льюис Морган на долгое время закрепил неудачную лексическую триаду в своей знаменитой работе «Древнее общество. Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации» (1877) (Морган, Косвен, 1935). К счастью, современная культурная антропология, благодаря во многом усилиям Франса Боаса, перешла на нейтральную лексику: «первобытная культура», «палеолит», «мезолит», «неолит» и т. п. Образ истории в качестве «ступеней развития» восходит, конечно, к гегелевским идеям и до сих пор еще трудно преодолим. Но, как стало понятно, этот образ приходится держать под строгим интеллектуальным контролем при любых попытках установления периодизации.

Спор «презентизм vs антикваризм» имел важные последствия для методологии историко-научных исследований, однако был почти не замечен в сфере гражданской истории. Впрочем, спустя некоторое время «презентизм» появился в лексиконе гражданских историков — в трудах Франсуа Артога, который поднял тему «режимов историчности» (Hartog, 2003). Появился новый контекст словоупотребления ненового слова. «Презентизм», по мысли этого автора, особый режим ощущения истории, присущий современному миру. Представляя читателю новую книгу, В. А. Мильчина писала (Мильчина, 2004):

XX век Артог описывает как эпоху не только футуризма, но и презентизма. Он цитирует самых разных авторов, которые от собственного лица или устами своих героев утверждают: прошлое — ничто, существует только настоящее. [...] Тот тип презентизма, который утверждает в конце XX века, не схож

ни со стоицизмом, ни с мессианством, ни с экзистенциализмом; в его основе лежит разочарование во всех иллюзиях и идеалах: там, где не остается веры ни в революционную идею, ни в социалистическое государство, ни в лучшее будущее, ценность приобретают только сиюминутные ощущения. Артог перечисляет самые разные виды и проявления этого «бытового» презентизма: от мироощущения безработного клошара до психологии туриста, от косметических средств против старения до интернет-технологий.

Несомненно, это было важной фиксацией чувства времени наших современников, но тем более сложившийся на данный момент тип историчности требует корректировки с точки зрения методологии изучения истории.

НАРРАТИВНОСТЬ И КОНТИНГЕНТНОСТЬ: НОВЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ «ЕЖЕЙ»

Когда дискурсный анализ практикующих историков пытается зафиксировать употребляемую сегодня лексику профессионалов, то следует, конечно, учитывать тот факт, что словоупотребление зачастую уходит довольно далеко от исходного смысла слов. От «яблока» как имени плода до «глазного яблока» или «яблока раздора», от «дорог» до «жизненных дорог» — дистанция огромного размера. Слова, как известно, обладают способностью становиться лексемами, и в таком качестве они перестают быть элементарным актом номинации, обретают важную эвристическую роль. Как мы пытались показать выше, почти каждая лексема историков оказывается на практике проблемной, т. е. обозначающей примечательный методологический или мировоззренческий спор. Историческая эпистемология пытается установить правила словоупотребления и указать на ошибки, которые можно допустить в историческом изучении, если правил не соблюдать. Дискурсный анализ, который можно считать частью исторической эпистемологии, правил не устанавливает, но лишь наблюдает, при каких обстоятельствах возникает новая лексика, которая далее, мы видим, оказывается обнаружением нерешенных проблем. В дискуссионное поле вовлекают практиков те из авторитетных историков, которых относят к «ежам» (*знающим одно, но важное*). И они, как считает П. Ю. Уваров, начинают заниматься эпистемологическими, а не историческими проблемами. Надо ли воспринимать это замечание как упрек? Ведь эпистемологи базируются на мнениях тех, кто непосредственно занимается историческим изучением.

Сбивает ли с толку своими вопросами эпистемология бодро шагающую сороконожку? Скорее нет, чем да. Историческая эпистемология

призвана уточнять маршрут и навигацию, а не вмешиваться в «моторный отсек». Это хорошо видно, если обратиться к работе А. Мегилла. Свою задачу автор, обратим внимание, формулирует несколько парадоксально. Общий его постулат гласит: «Для того, чтобы написать любую достойную работу по истории вообще, историки должны рассуждать» (Мегилл, Кукарцева и др., 2007: 10). Однако

историки, что и говорить, являются наиболее нетеоретичными из всех ученых, так что правила исторического исследования часто не артикулируются. Но они *живут* в любом историке или группе историков, представляющих свои незавершенные рукописи на проверку той методологической критикой, которой лучше всех владеют их коллеги по профессии. И еще раз: все это известно, по крайней мере многим. Это было известно и тем старшим поколениям историков, которые усваивали смысл исторического метода на традиционных исторических семинарах или узнавали методические правила из социальных наук. [...] Скорее, эта книга предназначена для еще не посвященных; она — введение в те проблемы, которые сегодня актуальны (там же: 90).

Что здесь парадоксально? С одной стороны, перед нами попытка вербализации тех правил, которые живут в профессиональном сообществе в качестве «неявного знания» (по терминологии М. Полани), т. е. для тех, кто не посвящен в тайны профессии. Но, с другой стороны, демонстрируются актуальные методологические проблемы. Следовательно, их надо обсуждать с экспертами, а не с новичками. Как бы то ни было, А. Мегилл представил обширную панораму «узловых точек» исторического исследования и тем самым предъявил тот концептуальный инструментарий, который позволяет сделать, по его словам, достойную историческую работу.

Среди «узловых точек» Мегилл рассматривает «память», «нарратив», «фрагментацию», «связность», «объективность и рассуждения», а также два вопроса, возникающих в ситуации современной культурной коммуникации: должна ли история быть непосредственно переживаемой, а также следует ли увлекаться построением «воображаемой» (виртуальной) истории? Сделаны все разборы с большой тщательностью, с анализом обширной литературы по вопросу, а также с конкретными примерами ошибок в рассуждениях. Прделанную эпистемологическую работу также можно осмыслять как предъявление своего рода «толкового словаря» профессионального историка. Нас будет в особенности интересовать лексема «нарратив», которая с легкой руки Хейдена Уайта (1973) (Уайт, Трубина и Харитонов, 2002) была выведена из привычного обихода и представлена на суд рефлексии.

Зададимся вопросом: почему такие тривиальные, привычные слова, как «рассказ» или «описание», выглядят столь ненадежными и сомнительными, когда о них говорят как о «нарративах»? Здесь историки выглядят супертеоретичными, так как в естествознании вряд ли когда-нибудь встанет особая проблема изучения способов описания минерала, планеты, электрона или водорода. Такая процедура является строго нормированной, усомниться в правомерности которой никому не придет в голову. Как получилось, что историки поставили это под вопрос? Можно ли как-то рационально нормировать исторический нарратив? Именно в этом видят сегодня проблему и сами историки, и историческая эпистемология. Здесь они ведут свои «бои за историю», за право истории *знать*, а не просто воображать и изображать нечто волнующее или прекрасное, поучительное или идеологически важное. Лексема «нарративности» сразу заставляет усомниться в возможности соблности научную, объективную исследовательскую позицию как минимум по двум соображениям.

Во-первых, Х. Уайт отметил (Уайт, Трубина и Харитонов, 2002: 8):

Указание на то, что историография содержит неотъемлемый поэтико-риторический компонент, заключается в традиционной идее о том, что историческая репрезентация собственно исторических процессов должна принимать форму повествования [narrativization]. [...] Операции, с помощью которых совокупность событий преобразуется в серию, эта серия — в последовательность, эта последовательность — в хронику, а хроника — в повествование [narrativization] — эти операции, я полагаю, более продуктивно понимать как тропологические по своему типу, а не как логико-дедуктивные.

Это серьезное и обескураживающее замечание. Действительно, если «троп» понимать буквально как *τρόπος* — «оборот» — или тем более, по М. Гаспарову, как «переосмысление значения», то такой феномен никак не спутаешь со строгим логическим выводом.

Во-вторых, Уайт далее говорит о разнообразии «поэтики» историографии XIX в. и утверждает, что это не случайное обстоятельство. Великие историки XIX столетия (Мишле, Ранке, Токвиль, Буркхардт и др.) оставили великие сочинения.

Их статус как возможных моделей исторической репрезентации или концептуализации не зависит от природы «данных», которые они используют для подтверждения своих обобщений или теорий, привлеченных ими для объяснения; этот статус скорее зависит от последовательности, согласованности и освещающей силы их видения исторического поля. По этой причине

они не могут быть «опровергнуты», а их обобщения не могут быть «разрушены» ни обращением к новым сведениям, которые могут обнаружиться в последующих исследованиях, ни разработкой новой теории для интерпретации совокупности событий, которые охватывают их представления и анализ (Уайт, Трубина и Харитонов, 2002: 23–24).

Выражаясь более общим эпистемологическим языком, исторические выводы не могут быть «фальсифицированы», по Попперу, и, следовательно, не попадают в ранг научных суждений как несоответствующие критерию демаркации.

Надо признать, что «Метаистория» в целом доказывает выдвинутые тезисы со всей возможной степенью обоснованности и убедительности. Замечательно и то, что в Заключении автор не дает каких-то четких советов или ориентиров практикующим историкам. Более того, несколько позже Уайт указывает (цит. по Мегилл, Кукарцева и др., 2007: 186):

Поднять вопрос о характере нарратива — значит осмыслить сам характер культуры, так как импульс к наррации настолько «естественен», что «нарративность может казаться проблематичной только в той культуре, в которой она отсутствовала». Следовательно, заявляет он, «нарратив и наррация — это скорее данности, чем проблемы».

Познавательную ценность нарратива постарался отстоять А. Мегилл. Он отметил значение той методологической вспышки, которую вызвала атака Уайта (там же: 176):

Я заинтересован самим *фактом* такой дискуссии, поскольку широкий (хотя и полемический) отклик, который работа Уайта получила среди лиц, интересующихся теоретическими проблемами историографии, сам себе показателен. Это указывает на впечатляющее признание мощи нарратива (и связанных с ним литературных форм), а также признание того, что существуют нерешенные теоретические вопросы, которые из этого возникают.

Такие встряски, по оценке автора, более чем полезны, поскольку научные дисциплины

имеют тенденцию к склеротическому самодовольству. Методологические правила, четко сформулированные в одном контексте, часто весьма неуместно применяются к другим контекстам (там же: 210).

Да, эта интересная головоломка для «ежей» остается в повестке дня. Но разве многознающие «лисы» не чувствовали влекущий соблазн нарративности и даже добровольное пленение ей? Возможен ли объективный нарратор? Мегилл признал *непреодолимую* силу нарратива,

который приносит *эстетическое* удовольствие, имеет *культурную* силу и доставляет своего рода *интеллектуальное удовлетворение*. Конечно, каузально-темпоральная путаница (*post hoc ergo propter hoc*) логически некорректна, однако сама по себе нарративная форма не ведет к ней с неизбежностью. Дело в контроле и самоконтроле исследователя. Мегилл напоминает о необходимости никогда не забывать о различии между *прошлым*, которое изучают, и исследователем, который занят изучением в *настоящем*. Он называет это концептуализированной идеей Мишеля де Серто, выделяющей историю среди других гуманитарных дисциплин:

Позиция историка подразумевает существование дистанции между историком и объектом его исследования, которая *может* способствовать формированию убежденности в том, что историк должен пытаться достигнуть истинного понимания вещей, даже если при решении этой задачи не имеется в виду получение какого-то *практического* результата (Мегилл, Кукарцева и др., 2007: 197).

Прибавим к сказанному: Ф. Артог, вероятно, был прав, когда назвал сегодняшний «режим историчности» безудержно презентистским. В таких условиях надо быть особенно внимательным к методологии исторического изучения в его нарративной ипостаси, не упуская из виду темпоральную дистанцированность, к нарушению которой наших современников всячески подталкивает острое чувство настоящего. «Побывать в прошлом» постоянно зазывают новые технологии (киноиндустрия и компьютерное моделирование), модные игры в «исторические реконструкции», но это иллюзион, а не познание. Историк предупрежден, следовательно, надо надеяться, вооружен против подобных искушений.

И еще одна головоломка для «ежей», которая появилась, хоть и не вчера, но уже начала тревожить и расширять лексикон некоторых историков. Речь идет о таком словечке, как «контингентность». Это пример типичного «перебежчика», поскольку слово пришло из сферы социальных наук, появилось там и начало вести себя активно в сфере социологии и социальной философии. Возмутитель спокойствия Никлас Луман привлек этот концепт из средневековой схоластики. (Подробный генезис и логический анализ концепта представлен в книге гонконгского философа (Хуэй, Кралечкин, 2020).) Хотя корень слова образован от латинского *contingere* (*случаться*), речь не о той случайности, которая противоположна необходимости. Это «неслучайная случайность», точнее неопределимый заранее горизонт возможностей

поведения акторов социального действия. Если попытаться сказать кратко, то Луман ставит такой вопрос: как получается, что социальная система, действуя в рамках собственного «порядка» (т. е. в собственных традициях и образцах поведения и деятельности), постоянно изменяет самое себя фактически произвольным образом? Можно, конечно, сказать, что история и социология повествуют о *деяниях человеческих*, а они произвольны («волонтаристичны»), но все же как объяснить, что изменяется все историческое, социальное целое, а не только конкретное поведение или тип деятельности?

По сути дела, именно Луман привнес концепт «контингентности» в поле исторического изучения. На это обратили внимание Ю. В. Иванова и П. В. Соколов (Иванова, Соколов, 2021: 79):

По известному наблюдению Никласа Лумана, в Новое Время «ориентация на контингентность настолько входит в привычку, что она сопутствует теперь всякому поиску необходимого, а *rigor* значимого, бесспорно ценного и, в силу контингентности самого этого предприятия (ибо оно становится видимым в качестве такого), делает контингентными его результаты — словно Мидасово злато Модерна» [авторы цитируют здесь работу Н. Лумана (Luhmann, 1992: 94)]. В том, чтобы считать «поворот к контингентному» ключевым моментом в генезисе Нового времени, Луман был не одинок.

Оказывается, если верить авторам, тема эта вовсе не нова и не сугубо современна. Она затронула уже в давние времена принципиальный вопрос о том, является ли каузальность единственным механизмом изменений и единственным способом их объяснения? И вот тема актуализируется, затрагивает историков вновь, оживает в новом методологическом контексте, поскольку возвращает к вопросу, который, если сформулировать его по-кантовски, звучит так: как возможна наука о контингентном, «случайном», но не в смысле «вероятном»; наука, вынужденная отказаться от каузальности? Думаю, вскоре мы будем наблюдать за мощным спором историков по такой проблематике, а историческая эпистемология вслед за тем постарается сформулировать правила работы с контингентными процессами.

Мне кажется, дискурсный анализ убедительно показывает, что следует более широко привлекать представления философской эпистемологии для анализа исторических исследований. История не просто междисциплинарна; историческое изучение — область трансдисциплинарности. По меткому определению Л. П. Киященко, сам этот термин обозначает

такие познавательные ситуации, когда та или иная наука вынуждена осуществить «сдвиг в *пограничную сферу* с жизненным миром» (Киященко, 2015: 11). История, бесспорно, весьма чувствительно затрагивает даже тех, кто не занимается ею профессионально. История непосредственно участвует в создании персональной идентичности, культурного кода, дает назидания и уроки, формирует чувство гордости или раскаяния за прошлые деяния — т. е. вмешивается в самую сердцевину нашего экзистенциального бытия. Историк, хочет он этого или нет, ведет за собой в утраченные «миры, светящиеся смыслом» (по известному выражению Альфреда Шюца), и эти миры причудливо разнообразны, как звездное небо.

В заключение остается подчеркнуть, что в моем «виртуальном споре» с П. Ю. Уваровым я пыталась показать значение исторической эпистемологии, ее, если угодно, полезность для историков, а также необходимость дискурсного анализа. Ведь все начинается со слов, поскольку слова — неперенные триггеры мышления.

ЛИТЕРАТУРА

- Блок М. Апология истории или ремесло историка / пер. с фр. Е. М. Лысенко. — М. : Наука, 1973.
- Бурдые П. Поле науки / пер. с фр. Е. Д. Вознесенской // Социальное пространство : поля и практики / под ред. Н. А. Шматко. — СПб. : Алетейя, 2014.
- Герасимов Г. И. Прошлое как объект истории // Genesis : исторические исследования. — 2017. — № 10. — С. 1–19.
- Гилберт Д., Малкей М. Открывая ящик Пандоры : социологический анализ высказываний ученых / пер. с англ. М. Бланко. — М. : Прогресс, 1987.
- Гуревич А. Я. История — нескончаемый спор. — М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2005.
- Иванова Ю. В., Соколов П. В. «Мидасово злато Модерна» : антиномии исторического сознания раннего Нового Времени // Клио в зазеркалье. Исторический аргумент в гуманитарной и социальной теории / под ред. Ю. В. Ивановой, И. М. Савеевой, П. В. Соколова. — М. : Новое литературное обозрение, 2021. — С. 79–105.
- Киященко Л. П. Философия трансдисциплинарности : подходы к определению // Трансдисциплинарность в философии и науке : подходы, проблемы, перспективы / под ред. В. А. Бажанова, Р. Шольца. — М. : Навигатор, 2015. — С. 109–135.
- Коллингвуд Р. Д. Идея истории // Идея истории. Автобиография / пер. с англ. Ю. А. Асеева. — М. : Наука, 1980.

- Лангер С. К.* Философия в новом ключе : исследование символики разума, ритуала и искусства / пер. с англ. С. П. Евтушенко. — М. : Республика, 2000.
- Мегилл А.* Историческая эпистемология / пер. с англ. М. Кукарцевой, В. Кашаева, В. Тимонина. — М. : Канон+, 2007.
- Мижешина Л. А.* Современная эпистемология гуманитарного знания : междисциплинарные синтезы. — М. : Политическая энциклопедия, 2016.
- Мильчина В. А.* Книжная полка : Франсуа Артог «Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени» / Отечественные записки. — 2004. — URL: <https://magazines.gorky.media/oz/2004/5> (дата обр. 12 авг. 2021).
- Морган Т.* Древнее общество / пер. с англ. М. О. Косвена. — М. : Изд-во Института народов севера ЦИК СССР, 1935.
- Розов М. А.* Презентизм и антикваризм — две картины истории // Вопросы истории естествознания и техники. — 1994. — № 3. — С. 22–23.
- Уайт Х.* Метаистория : Историческое воображение в Европе XIX века / пер. с англ. Е. Г. Трубиной, В. В. Харитоновой. — Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2002.
- Уваров П. Ю.* Между «лисами» и «ежами». Заметки об историках. — М. : Новое литературное обозрение, 2015.
- Февр Л.* Бои за историю / под ред. А. Я. Гуревича ; пер. с фр. А. Л. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова. — М. : Наука, 1991.
- Феномен прошлого* / под ред. И. М. Савельевой, А. В. Полетаева. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
- Физический энциклопедический словарь* / под ред. А. М. Прохорова. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
- Хуэй Ю.* Рекурсивность и контингентность / пер. с англ. Д. Кралечкина. — М. : V-A-C Press, 2020.
- Шиповалова Л. В.* Современная историческая эпистемология. Аналитический обзор направления исследований // Цифровой ученый : лаборатория философа. — 2018. — Т. 1, № 4. — С. 153–167.
- Эко У.* Роль читателя. Исследования по семиотике текста / пер. с англ. С. Д. Серебряного. — СПб. : Симпозиум, 2005.
- Элиаде М.* Космос и история. Избранные работы / пер. с фр. И. Р. Григулевича, М. Л. Гаспарова. — М. : Прогресс, 1987.
- Butterfield H.* The Whig Interpretation of History. — London : G. Bell, 1931.
- Cohen B.* Revolution in Science. — Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 1985.
- Hartog F.* Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps. — Paris : Editions du Seuil, 2003.
- Luhmann N.* Beobachtungen der Moderne. — Opalden : Westdeutscher Verlag, 1992.

Stoking G. W. On the Limits of “Presentism” and “Historicism” in the Historiography of the Behavioral Sciences // *Journal of the History of the Behavioral Studies*. — 2018. — Vol. 1, no. 3. — P. 211–212.

Kuznetsova, N. I. 2021. “Diskurs istoricheskogo poznaniya: epistemologicheskii analiz [Discourse of Historical Cognition: an Epistemological Analysis]” [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 5 (4), 85–115.

NATALIYA KUZNETSOVA

DOCTOR OF LETTERS IN DSC IN PHILOSOPHY, CHIEF RESEARCHER
INSTITUTE FOR THE HISTORY OF NATURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES (MOSCOW, RUSSIA); ORCID: 0000-0002-3310-5285

DISCOURSE OF HISTORICAL COGNITION: AN EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS

Submitted: Sept. 02, 2021. Reviewed: Jan. 20, 2021. Accepted: Nov. 01, 2021.

Abstract: The purpose of this article is to consider the discourse of researchers actively working in the field of historical knowledge. In other words, the article examines the features of the verbalization of basic concepts and methodological attitudes of modern historical knowledge. Discourse analysis, in contrast to the traditional philosophical and methodological, allows you to penetrate into the microcosm of historical work, to observe the “historian at the workbench” outside the “spotlights” and other attributes of public demonstration. Discourse analysis is a specific section of historical epistemology. From the author’s point of view, epistemology adheres to a descriptive attitude. It is intended to describe, not prescribe, as is the case with the methodology of science. The goal of the article is to trace and show the dynamics of the historical vocabulary in the hope of seeing emerging trends in the rethinking of the models of the historical process as a whole. Discourse analysis allows you to detail intellectual changes and see “point shifts” in patterns of thinking, which ultimately lead to “tectonic transformations” of the entire field of historical research. Science, according to the theory of P. Bourdieu, is a specific social game, and contains a competitive struggle within itself, in which the winner acquires the right to general recognition and authority, which consolidate the concepts he invented as legitimate. History is no exception here. The article focuses on such concepts that have gained legitimacy as “historical reconstruction”, “temporality”, “past”, “presentism”, “antiquarianism”, “narrative”, “contingent”. It is shown that words are the triggers of search thinking.

Keywords: Historical Epistemology, Discourse Analysis, Historical Reconstruction, Temporality, Presentism, Antiquarianism, Narrative, Contingency.

DOI: 10.17323/2587-8719-2021-4-85-115.

REFERENCES

Bloch, M. 1973. *Apologiya istorii ili remeslo istorika [Apologie pour l’histoire ou metier d’historien]* [in Russian]. Trans. from the French by Ye M. Lysenko. Moskva [Moscow]: Nauka.

- Bourdieu, P. 2014. "Pole nauki [Field of Science]" [in Russian]. In *Sotsial'noye prostranstvo [Espace social] : polya i praktiki [Champs et pratiques]*, ed. by N. A. Shmatko, trans. from the French by Ye. D. Voznesenskiy. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Aleteyya.
- Butterfield, H. 1931. *The Whig Interpretation of History*. London: G. Bell.
- Cohen, B. 1985. *Revolution in Science*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Collingwood, R. G. 1980. "Ideya istorii [The Idea of History]" [in Russian]. In *Ideya istorii. Avtobiografiya [The Idea of History. Autobiography]*, trans. from the English by Yu. A. Aseyev. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Eco, U. 2005. *Rol' chitatelya. Issledovaniya po semiotike teksta [The Role of the Reader]* [in Russian]. Trans. from the English by S. D. Serebryanogo. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Simpozium.
- Eliade, M. 1987. *Kosmos i istoriya. Izbrannyye raboty [Space and History. Selected Works]* [in Russian]. Trans. from the French by I. R. Grigulevicha and M. L. Gasparova. Moskva [Moscow]: Progress.
- Febvre, L. 1991. *Boi za istoriyu [Combats pour l'histoire]* [in Russian]. Ed. by A. Ya. Gurevich. Trans. from the French by A. L. Bobovich, M. A. Bobovich, and Yu. N. Stefanov. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Gerasimov, G. I. 2017. "Proshloye kak ob'yekt istorii [The Past as an Object of History]" [in Russian]. *Genesis [Genesis]: istoricheskiye issledovaniya [Historical Research]*, no. 10: 1–19.
- Gilbert, G. N., and M. Mulkay. 1987. *Otkryvaya yashchik Pandory [Opening Pandora's Box]: sotsiologicheskii analiz vyskazyvaniy uchenykh [A Sociological Analysis of Scientists' Discourse]* [in Russian]. Trans. from the English by M. Blanko. Moskva [Moscow]: Progress.
- Gurevich, A. Ya. 2005. *Istoriya — neskonchayemyy spor [History is an Endless Dispute]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Rossiysk. gos. gumanit. un-t.
- Hartog, F. 2003. *Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps* [in French]. Paris: Editions du Seuil.
- Hui, Yu. 2020. *Rekursivnost' i kontingentnost' [Recursivity and Contingency]* [in Russian]. Trans. from the English by D. Kralechkina. Moskva [Moscow]: V-A-C Press.
- Ivanova, Yu. V., and P. V. Sokolov. 2021. "Midasovo zlato Moderna' ['Midas Gold of Modernity]: antinomii istoricheskogo soznaniya rannego Novogo Vremeni [Antinomies of Historical Consciousness of Early Modern Times]" [in Russian]. In *Klio v zerkal'ye. Istoricheskiy argument v gumanitarnoy i sotsial'noy teorii [Clio through the Looking Glass. Historical Argument in Humanitarian and Social Theory]*, ed. by Yu. V. Ivanova, I. M. Save'yeva, and P. V. Sokolov, 79–105. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Kiyashchenko, L. P. 2015. "Filosofiya transdistsiplinarnosti [Philosophy of Transdisciplinarity]: podkhody k opredeleniyu [Approaches to the Definition]" [in Russian]. In *Transdistsiplinarnost' v filosofii i nauke [Transdisciplinarity in Philosophy and Science] : podkhody, problemy, perspektivy [Approaches, Problems, Prospects]*, ed. by V. A. Bazhanov and R. Shol'ts, 109–135. Moskva [Moscow]: Navigator.
- Langer, S. 2000. *Filosofiya v novom klyuche [Philosophy in a New Key]: issledovaniye simboliki razuma, rituala i iskusstva [A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art]* [in Russian]. Trans. from the English by S. P. Yevtushenko. Moskva [Moscow]: Respublika.
- Luhmann, N. 1992. *Beobachtungen der Moderne* [in German]. Opalden: Westdeutscher Verlag.

- Megill, A. 2007. *Istoricheskaya epistemologiya [Karl Marx]* [in Russian]. Trans. from the English by M. Kukartseva, V. Kashayev, and V. Timonin. Moskva [Moscow]: Kanon+.
- Mikeshina, L. A. 2016. *Sovremennaya epistemologiya gumanitarnogo znaniya [Modern Epistemology of Humanitarian Knowledge]: mezhdistsiplinarnyye sintezy [Interdisciplinary Syntheses]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Politicheskaya entsiklopediya.
- Mil'china, V. A. 2004. "Knizhnaya polka [Bookshelf]: Fransua Artog "Tipy istoricheskogo myshleniya: prezentizm i formy vospriyatiya vremeni" [Francois Artogue "Types of Historical Thinking: Presentism and Forms of Perception of Time"]" [in Russian]. Otechestvennyye zapiski. Accessed Aug. 12, 2021. <https://magazines.gorky.media/oz/2004/5>.
- Morgan, L. H. 1935. *Drevneye obshchestvo [Ancient Society]* [in Russian]. Trans. from the English by M. O. Kosven. Moskva [Moscow]: Izd-vo Instituta narodov severa TsIK SSSR.
- Prokhorov, A. M., ed. 2005. *Fizicheskii entsiklopedicheskiy slovar' [Physical Encyclopedic Dictionary]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Izd. dom GU VSh-E.
- Rozov, M. A. 1994. "Prezentizm i antikvarizm — dve kartiny istorii [Prezentism and Antiquarianism — Two Pictures of History]" [in Russian]. *Voprosy istorii yestestvoznaniya i tekhniki [Questions of the History of Natural Science and Technology]*, no. 3: 22–23.
- Savel'yeva, I. M., and A. V. Poletayev, eds. 2005. *Fenomen proshlogo [The Phenomenon of the Past]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Izd. dom GU VSh-E.
- Shipovalova, L. V. 2018. "Sovremennaya istoricheskaya epistemologiya. Analiticheskiy obzor napravleniya issledovaniy [Modern Historical Epistemology. Analytical Review of the Research Direction]" [in Russian]. *Tsifrovoy uchenyy [Digital Scientist]: laboratoriya filozofa [The Philosopher's Laboratory]* 1 (4): 153–167.
- Stoking, G. W. 2018. "On the Limits of 'Presentism' and 'Historicism' in the Historiography of the Behavioral Sciences." *Journal of the History of the Behavioral Studies* 1 (3): 211–212.
- Uvarov, P. Yu. 2015. *Mezhd "lisami" i "yezhami". Zametki ob istorikakh [Between "Foxes" and "Hedgehogs". Notes on Historians]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- White, H. 2002. *Metaistoriya [Metahistory]: Istoricheskoye voobrazheniye v Yevrope XIX veka [The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe]* [in Russian]. Trans. from the English by Ye. G. Trubina and V. V. Kharitonov. Yekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo un-ta.